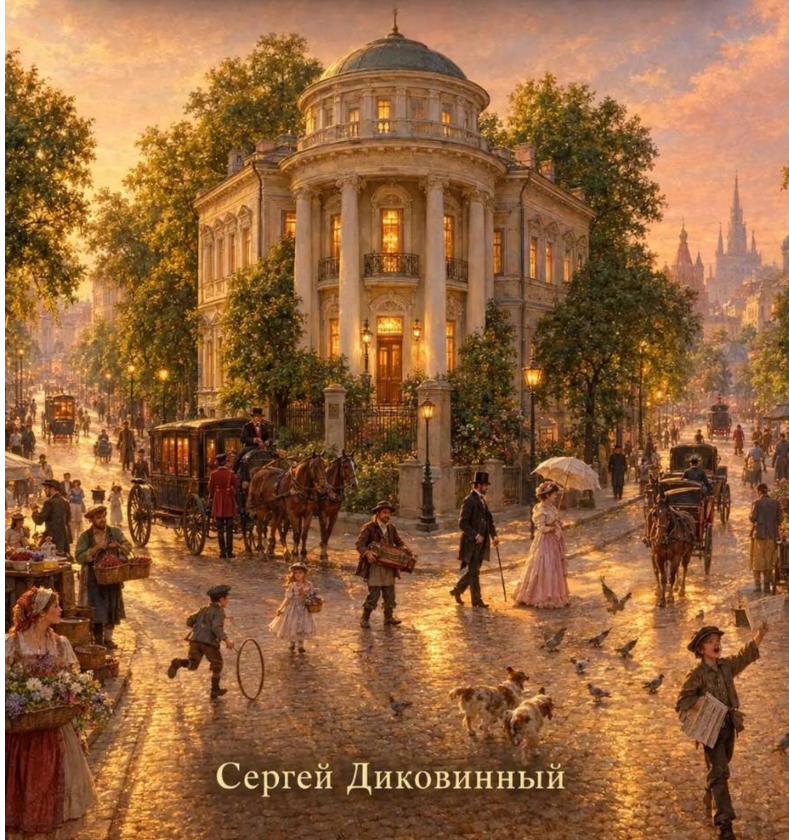


МЕСТА, КОТОРЫХ НЕТ

ДОМ АННЕНКОВЫХ



Сергей Диковинный

Сергей Диковинный Дом Анненковых

<https://litres.ru/74657987>

SelfPub; 2026

Аннотация

Угол Петровки и Кузнецкого Моста. Здесь с 1776 года стоял дом Анненковых — московский особняк, приписываемый Баженову, о котором помнят куда меньше, чем он заслуживает. В нём жила самая богатая чудачка Москвы, прозванная королевой Голконды. В нём вырос декабрист Иван Анненков, за которым в Сибирь поехала француженка Полина Гёбль — та самая история, что вдохновила Александра Дюма. В нём останавливались Некрасов, Тургенев, Салтыков-Щедрин, работал фотограф Наппельбаум, играл кинотеатр «Мефистофель» и читал стихи Есенин. В 1948 году дом снесли, несмотря на охранный статус, — и на его месте вырос «Берлинский дом». Эта новелла о том, как Москва помнит и как забывает. И о том, что память держится не на зданиях, а на людях.

Содержание

Глава 1. Угол	4
Глава 2. Королева Голконды	12
Глава 3. Поручик и модистка	18
Глава 4. Доходный дом	25
Глава 5. Сорок восьмой	33
Эпилог. Берлинский дом	40
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Сергей Диковинный Дом Анненковых

Глава 1. Угол



Есть в Москве места, которые помнят не потому, что их охраняют, а потому что сама форма улиц их не отпускает. Угол Петровки и Кузнецкого Моста — из таких. Две улицы сходятся здесь под острым углом, и эта геометрия определяла всё: как выглядел дом, как он встречал прохожего, как жил своей жизнью. Не стоял на перекрёстке — а вписывался в сам шов города, в его природную складку.

Петровка — старая улица. Она помнит ещё петровские времена, от которых и получила своё название: здесь стоял Пушечный двор, и вокруг него селились ремесленники, кузнецы, литейщики. Век за веком она менялась, из ремесленной становилась купеческой, из купеческой — дворянской, а потом снова торговой, но всегда оставалась одной из главных осей города, идущей от Высокопетровского монастыря вниз, к Театральной площади, к самому сердцу Москвы.

Кузнецкий Мост — улица другой породы. За свою историю она переменяла столько лиц, сколько не всякий театральный актёр. Был на ней когда-то настоящий мост через Неглинную, и от него осталось только имя. Потом она стала самой модной улицей Москвы: здесь селились ювелиры, книгопродавцы, шляпники, парфюмеры, здесь открывали свои лавки французские, немецкие, английские мастера, и к началу девятнадцатого века Кузнецкий сделался тем, чем и остался надолго в московской памяти — улицей роскоши, витрин, соблазна и моды. Здесь продавали лучшее в городе, здесь одевались, здесь гуляли, здесь тратили состояния с той лёгкостью, с которой умели тратить только в дореформенной Москве.

Угол этих двух улиц — Петровки и Кузнецкого — был, стало быть, двойным узлом: и по положению, и по смыслу. Здесь встречались две Москвы: старая, ремесленная, глядевшая в сторону Кремля, и новая, торговая, европейская, глядевшая в сторону моды и денег. Такой угол не мог оставать-

ся пустым. Такой угол просил, чтобы на нём выстроили что-нибудь стоящее, и притом именно с расчётом на этот острый, неудобный, но удивительно выгодный клин между двумя сходящимися улицами.

В 1776 году здесь задумали особняк.

Заказчиком был Иван Варфоломеевич Якоби, генерал-губернатор Сибири. Это имя сегодняшнему москвичу почти ничего не говорит, а между тем должность была ключевая. Генерал-губернатор Сибири — наместник края, который сам по себе был государством в государстве: огромный, далёкий, ледяной, неисчислимый. Он управлял землями, на которых свободно разместились бы несколько европейских стран. Через его руки проходили рудники, караваны, ясак, приговоры, ссыльные и золото. Должность эта требовала особой породы человека: спокойного, тяжеловесного, привыкшего к масштабу и к тому, чтобы издалека решать судьбы тысяч людей, которых он никогда не увидит.

И вот этот человек, привыкший к масштабам Сибири, строил дом в Москве — небольшой по меркам его губерний, но важный для его семьи. Строил он не для себя. Строил он в приданое дочери.

Анна Якоби выходила замуж, а отец собирался дать ей дом, достойный её будущего положения. Это было в обычаях времени. Русские дворянские браки в восемнадцатом веке — не столько союз двух сердец, сколько слияние двух родословных, двух состояний, двух стратегий. И приданое в этом

слиянии весило много. Дом в Москве, на углу Петровки и Кузнецкого Моста, — это было не просто недвижимое имущество. Это была заявка. Это было место в столичной иерархии. Это был голос в хоре дворянской Москвы, который Якоби хотел оставить за своей дочерью, прежде чем отойдёт сам.

Дом был выстроен в 1776 году. Проект приписывают Василию Баженову.

Прямых доказательств тому нет. Есть почерк, есть соответствие стилю, есть авторитет Игоря Грабаря — крупнейшего искусствоведа своего времени, — который считал автором именно Баженова. Этого достаточно, чтобы спорить двести лет, и недостаточно, чтобы закрыть вопрос. Так и живёт эта атрибуция между уверенностью и догадкой. Искусствоведение — наука строгая, но тонкая: в ней важно не только то, что доказано, но и то, что с большой вероятностью справедливо. Дом Анненковых попал именно в эту категорию — с большой вероятностью, но не документально. И этой неопределённости хватило, чтобы вокруг него и сегодня продолжали спорить.

Впрочем, для самого дома это не так важно. Дом говорит за себя. А он говорил на языке московского классицизма — ясно, безупречно, модно.

Замысел был прост и остроумен одновременно.

На угол выходила высокая полуротонда — полукруглый объём под куполом. Форма эта в Москве последней трети восемнадцатого века была не случайной: ротонду в угло-

вой части здания полюбили как своеобразный фирменный знак русского классицизма. Она давала дому ось, смысловой центр, лицо, обращённое сразу к обеим улицам. Она собирала в себе два направления, между которыми стоял дом, и превращала неудобный острый угол в главное его достоинство. Не всякий зодчий умеет так понять место, на котором строит. Но тот, кто строил здесь, понял.

К ротонде примыкали два симметричных трёхэтажных флигеля. Парадный вход украшали колонны. Позже к дому пристроили ещё один корпус — время и хозяева требовали места, а здание было живое и продолжало расти.

Так выглядел первый русский особняк на этом углу. Классицистическая сдержанность. Каменная ясность. Соразмерность. Ни лишней вычурности, ни жеманства, ни желания понравиться кому-то, кроме самого себя. Дом знал себе цену — и знал её молча.

В 1786 году Иван Якоби отдал дом дочери.

Анна Якоби вышла замуж за Александра Николаевича Анненкова, отставного капитана Преображенского полка. Это был не блестящий военный, не политик, не сановник — просто офицер, вышедший в отставку после службы, человек без особенного имени и без особенной карьеры. Но он был мужем Анны Якоби, и через этот брак дом на Петровке перешёл к Анненковым. Так одна фамилия сменилась другой. Здесь не было никакой драмы, никакой семейной свары, ничего, что могло бы остаться в анналах. Просто жизнь: дочь

вышла замуж, отец передал ей приданое, дом начал жить под новым именем.

Через семнадцать лет, в 1803 году, Анна Ивановна овдовела. Тогда же умер её отец.

Так всегда в жизни бывает: события, которые кажется должны быть далеко друг от друга, сходятся в один год и обрушиваются на человека вместе. Анна Ивановна в один и тот же год потеряла мужа и отца, а получила огромное состояние и стала единственной полноправной владелицей особняка на углу Петровки и Кузнецкого Моста. Ей шёл тогда за тридцать. Из неё вышла та самая женщина, о которой пойдёт речь в следующей главе и которая войдёт в московскую историю под совершенно неожиданным именем.

С этого момента дом на Петровке сделался домом Анненковых. Имя это останется за ним навсегда — даже когда самих Анненковых в нём уже давно не будет.

Имя вообще странная вещь. Оно прилипает к дому порой по чистой случайности и потом держится дольше, чем переживают его владельцы. Анненковы получили этот дом через брак, не построили его, не выстроили, не вложили в него особого смысла. А между тем именно они оставили ему имя, которое в московской памяти заслонило и Якоби, и безвестного капитана, и, может быть, самого Баженова. Дом переживёт и королеву Голконды, и её сына, и Михалковых, и Транкля Яра, и всё, что в нём потом будет, — и всё это время будет называться домом Анненковых. Так бывает. Так городская

память закрепляет имена и держится за них даже тогда, когда самих носителей уже давно нет на свете.

И вот тут стоит сказать ещё одну вещь, важную для всей нашей новеллы.

Дом на углу Петровки и Кузнецкого — не шедевр Баженова, даже если Баженов его действительно строил. Он не Царицыно, не дом Пашкова, не Кремлёвский дворец. Это превосходное, но рядовое московское здание. Таких в Москве были десятки. Полуротонда на сходящихся улицах, два флигеля, классицистический фасад — норма, а не уникам. Хорошая, крепкая, уместная постройка, каких в те годы на московских углах возводили множество: без вызова, без дерзости, без притязания на вечность.

Именно поэтому его судьба показательнее, чем судьба великих памятников. Великие — спасают или проклинают. Рядовые — пропадают тихо. Их сносят не потому, что они плохи. Их сносят потому, что они не так хороши, чтобы за них драться. А между тем из этих рядовых и складывается город. Не из Кремля — а из ста таких вот домов на ста таких вот углах. Из домов, где жили, сдавали, обедали, влюблялись, ссорились, рожали, умирали. Из домов, мимо которых проходишь, не запоминая фамилии хозяина. Когда их сносят по одному, город теряет не красоту, а плоть. Он становится глаже и легче, но и меньше: не по площади, а по плотности времени, по толщине памяти.

Дом Анненковых в этом смысле — точный портрет своего

города и своей эпохи. Он не поражал. Он жил. Он был нужен не как памятник, а как место, в котором происходит жизнь. Сначала здесь обосновался Якоби, готовивший приданое дочери. Потом хозяйкой стала Анна Ивановна, женщина, о которой мы расскажем дальше. Потом в доме вырос декабрист. Потом он стал доходным, гостиничным, ресторанным. Потом в нём показывали кино и читали стихи. Вечно на этом углу что-то происходило. Дом работал — как работают московские дома: без гордости, но и без перерыва.

А потом перестал. Но до этого — королева. И вот о ней — отдельная глава.

Глава 2. Королева Голконды



В Москве начала девятнадцатого века умели давать прозвища. Не злые, не хорошие — точные. Прозвище прилипало к человеку, как второй крест, и несло его до самой смерти. Анну Ивановну Анненкову, статскую советницу, вдову отставного капитана, единственную полноправную хозяйку особняка на углу Петровки и Кузнецкого, прозвали королевой Голконды.

Голконда — это древняя индийская крепость. Там добывали самые крупные, самые чистые и самые дорогие алмазы в мире. Там нашли Кохинур — камень,

который сегодня украшает королевскую сокровищницу Британии. Название это знали в Москве понаслышке, но звучало оно так, что сразу было понятно: речь идёт о богатстве, перед которым можно только стоять и молчать. Не о достатке. Не о состоянии. О чём-то почти сказочном.

Так и жила Анна Ивановна. Как сказка. Как чужая земля посреди Петровки.

Она не была красавицей. Не была умницей. Не была добродетельна. Всё это было бы слишком мелко для того пространства, которое она вокруг себя выстроила. Она была в своём доме богиней и тираном одновременно — и, что важнее всего, она знала это и требовала соответствия. Войти к ней без доклада было немыслимо. Ходить по дому полагалось не иначе как в чулках — шагов не должно было быть слышно. Всю её одежду, прежде чем надеть, надлежало нагреть живым теплом. Платье сменялось дважды: был туалет дневной, был ночной, и между ними — целый мир ритуала, известный только ей одной и тем, кто ей прислуживал.

В доме не было ни дня, ни ночи. В любой час — в третьем, в пятом, в любом — Анне Ивановне могло потребоваться выехать, откушать, принять кого-нибудь или просто велеть переставить мебель. Дом жил не по часам, а по её желанию. И все, кто в нём находил-

ся, жили по тому же закону. Их было около ста пятидесяти человек — свита, двор, толпа. Молодые красивые девушки постоянно окружали хозяйку и поочерёдно должны были находиться в её комнате. Их сменяли. Их проверяли. Их держали подле, как держат светильники, чтобы даже в темноте было кому гореть.

Личные покои Анны Ивановны занимали целое крыло. Стены в них были обиты малиновым штофом — плотной шёлковой тканью с крупным сложным рисунком. Малиновый и красный в те годы стоили особенно дорого: для них шли редкие, редчайшие красители, которые везли издалека, платили за них золотом и хранили как драгоценность. Несколько комнат отданы были под один только гардероб. В нём насчитывалось более пяти тысяч платьев. Пять тысяч. Это был уже не гардероб. Это была река платьев, текущая через двадцать лет и ни разу не иссякающая.

Комнаты были обставлены резной позолоченной мебелью. Всё в доме было дорогим, всё говорило о том, что хозяйка не считает денег и не собирается их считать. И только одной вещи в её покоях не было — кровати.

Однажды Анне Ивановне предсказали, что она умрёт во сне. С тех пор она спать не ложилась. Только дремала по ночам, полулёжа на кушетке, закутавшись в меховую шаль, — на границе между сном и

явью, там, где смерть, если она и придёт, не застанет её врасплох. Каждую ночь рядом с ней помещались дежурные. Диваны вносились в её комнату заранее. Сорок служанок, устроившись вокруг, обязаны были не спать вовсе и всю ночь говорить вполголоса. Шёпот был колыбельной. Пока он не смолкал, Анна Ивановна дремала. Стоило кому-нибудь умолкнуть — она просыпалась немедленно. Так проходили её ночи, год за годом: сорок голосов, перетекающих друг в друга, и женщина, слушающая их из-под меховой шали, чтобы не заснуть в последний раз.

Можно было бы смеяться над этим. Москва и смеялась — вполголоса, за спиной, в те же самые вечера, когда сама же стояла перед её домом. Но смех был не злой. Это был смех города, который понимает, что смотрит на что-то, чего больше не будет. На такую степень богатства и причуды, при которой уже безразлично, что о тебе думают. Анна Ивановна, со своей стороны, тоже, кажется, не думала о Москве. Она жила в своём мире — в малиновом штофе, в живой колыбельной из сорока голосов, в ожидании конца, который должен был случиться не во сне.

За свою долгую жизнь она успела то, чего не умели добиться иные и за век: она создала вокруг себя реальность, которая держалась на одном человеке. Всё это — полторы сотни людей, пять тысяч платьев,

штоф, купол, резная позолота, ночной шёпот — существовало ровно столько, сколько существовала она. Ни минуты дольше.

У Анны Ивановны было двое сыновей. Старший, Иван, — тот, о котором речь впереди. Младший, Григорий, погиб на дуэли. Дом переживёт обоих и будет помнить обоих дольше, чем их помнила мать. Потому что дом — это единственное, что умеет помнить без выбора и без пощады.

В 1842 году королева Голконды умерла. В бедности. В одиночестве. Так, как умирают все, кто всю жизнь строил вокруг себя мир из себя самого, — оставляя после себя нечто, что тут же перестаёт быть миром и становится просто комнатами, из которых вышел воздух.

За пять лет до смерти она продала дом коммерсантам Михалковым. Дом перешёл к ним и оставался их до самой революции. С этого момента особняк, некогда созданный как приданое и превратившийся в личное королевство, начал жить чужой жизнью — жизнью доходного дома. Часть его стали сдавать внаём. В покоях, где когда-то ходили на цыпочках в чулках, где стены были обиты малиновым штофом, теперь гости приезжие. В комнатах, где сорок голосов шептались, чтобы хозяйка не заснула навсегда, теперь считали деньги.

Но в доме оставался ещё один человек — и он не был ни королевой, ни чудаком. Это был сын. Поручик. Тот, кому и предстояло сделать этот дом знаменитым по-настоящему. Не богатством, не штофом, не причудами. Любовью. Той любовью, из-за которой в России и по сей день пишут книги и снимают кино.

О ней мы и расскажем в следующей главе.

Глава 3. Поручик и модистка



Иван Анненков был старшим сыном королевы Голконды и поручиком Кавалергардского полка. Это сочетание — блестящее и двусмысленное одновременно. Кавалергарды стояли на самой верхней ступени русской гвардии: белый мундир, серебряная труба на каске, лошади из императорских конюшен, шаг в двух шагах от престола. И в то же время быть старшим сыном Анны Ивановны означало быть почтительным сыном, сопровождать её в бесконечных походах по магазинам, терпеть её самодурство, жить в доме, где

по коридорам ходили в чулках и где ночью сорок голосов шептались подле кушетки матери, чтобы она не заснула навсегда.

Он вырос среди этого. И вырос из этого. Из малинового штофа, из позолоты, из тихой роскоши — в холодную ясность мундира, в дисциплину полка, в собственную отдельную жизнь. Ему шёл двадцать второй год, когда в модном доме мадам Дюманси на Кузнецком мосту он увидел молодую француженку.

Её звали Полина Гёбль. Она служила в лавке приказчицей. Не гувернантка, не актриса, не знатная иностранка — просто девушка, приехавшая из Франции зарабатывать на жизнь в чужом городе, в чужом климате, за прилавком модного магазина. Между ней и поручиком Кавалергардского полка лежало расстояние, которое в тогдашней России принято было считать непреодолимым: он — из первого круга, она — из прислуги. Но Москва, как известно, город наклонный: здесь соседствуют бок о бок дворцы и лавки, и на Кузнецком мосту, среди витрин и вывесок, можно было встретиться кому угодно с кем угодно.

Они встретились. И больше друг без друга жизни не мыслили.

Дом на Петровке знал об этом, конечно. Дом, где всё подчинялось воле одной женщины, где каждое движение было ритуалом, а каждое чувство — подчи-

нено распорядку, вряд ли мог одобрить союз сына с приказчицей. О свадьбе не заходило речи. Но молодые люди не думали о будущем. У них было настоящее — и в этом настоящем они были счастливы. Насколько счастливы, что через много лет один французский учитель фехтования, случайно знавший Полину, расскажет их историю писателю, и писатель напишет роман, и роман этот будут читать спустя полтора столетия. Но до этого было ещё далеко. Пока были лавки на Кузнецком, прилавок мадам Дюманси, белые стены кавалергардской казармы и прогулки по Москве — те короткие, торопливые, счастливые прогулки, которые кажутся вечными, когда тебе двадцать два и тебе двадцать два.

А потом пришёл декабрь 1825 года.

На Сенатской площади собрались те, кого потом назовут декабристами. Иван Анненков был там — но, как говорят, по другую сторону от своих товарищей. Он не вышел на площадь с полком. Он стоял рядом с теми, против кого вышли на площадь те, кого он знал. Дело не в трусости и не в убеждениях. Кавалергарды в тот день охраняли порядок. Поручик Анненков был на той стороне, где стояли присяга, дисциплина и то, что он сам в двадцать два года считал своим долгом. Но даже эта осторожность его не спасла. Следствие вспомнило всё: что он знал о готовящемся заговоре,

что был дружен с его участниками, что говорил с ними о вещах опасных. За одно это, за одни только разговоры, его признали виновным и лишили чинов и дворянства.

Ивана Анненкова заключили в Петропавловскую крепость. Через год отправили в Сибирь.

Двадцать лет каторги. Это был приговор, произнесённый вслух, в лицо, всерьёз. Двадцать лет в Чите, в рудниках, в кандалах, на морозе, вдали от всего, что было домом. Двадцать лет, из которых к тому времени ему оставалось прожить, если считать от дня приговора, ещё сорок и из которых он, скорее всего, должен был не вернуться. Прощание было коротким. Мать — королева Голконды, ещё живая, ещё властная, ещё хозяйка своего дома на Петровке, — не смогла и не захотела ничего изменить. Дом, в котором её сын родился и вырос, остался стоять на своём углу. Из дома он вышел — один, с тем, что на нём было, и с тем, что он успел сказать на прощание.

Вслед за ним в Сибирь поехала женщина, которая не имела на него никаких прав.

Полина Гёбль не была ему ни женой, ни невестой в церковном смысле. Их не венчали. Никто не давал ей разрешения на этот шаг, никто не поручал ей сопровождать ссыльного, и в глазах закона она была ему чужой. Ей предстояло сделать то, чего не делали тогда

даже жёны многих декабристов, — потому что жёны эти, при всей своей героической решимости, ехали хотя бы к мужьям. Она ехала к человеку, с которым не была связана браком. И она поехала.

В 1827 году Полина выехала из Москвы. Дорога была долгой, зимней, страшной. В Чите она добилась разрешения обвенчаться с Анненковым. Для этого ей пришлось принять православие и взять новое имя — Прасковья. Так француженка Полина Гёбль превратилась в русскую Прасковью Егоровну Анненкову. В апреле 1828 года их обвенчали. К этому времени он был каторжником, она — женой каторжника. Это единственное, чем они отныне располагали.

Супруги Анненковы жили на поселении в Иркутской и Тобольской губерниях. Потом, после амнистии, перебрались в Нижний Новгород. Там в 1857 году с ними встретился Александр Дюма.

Дюма путешествовал по России. Он ехал через Петербург, через Москву, через Нижний, через Волгу, через Кавказ, и ему хотелось уловить эту страну — огромную, чужую, ускользающую. В Нижнем Новгороде он познакомился с четой Анненковых. Вряд ли он сразу понял, что перед ним. Уставший от долгой дороги, вежливый, любопытный, он слушал рассказы графини Анненковой — так к этому времени её называли. И среди прочего услышал историю про францу-

женку, которая поехала за русским офицером в Сибирь. Историю эту ему рассказал ещё раньше, в другом месте, знакомый Полины — учитель фехтования Огюстен Гризье. Дюма не мог её забыть. Она была как будто специально сделана для его пера: любовь, разлука, ссылка, верность, чужой холодный край и женщина, которая в этом краю осталась собой.

Из этой истории он написал роман. Назвал его «Учитель фехтования». Прототипами главных героев стали Иван Анненков и Полина Гёбль — под другими, разумеется, именами, но угадываемо близко. Роман имел успех. Читателей трогала история француженки, поехавшей в Сибирь за любимым. Русские критики и историки, впрочем, не слишком любили «Учителя фехтования» — считали образы неточными, а сюжет приукрашенным. Но книга шла, переводилась, переиздавалась. И постепенно из второстепенного романа Дюма превратилась в одну из тех книг, по которым иностранцы узнают, что такое Россия: страна, где расстояния огромны, приговоры суровы, а любовь — сильнее всего, что делает с людьми государство.

Иван Анненков и Полина (Прасковья) прожили вместе всю жизнь. Она умерла в 1876 году. Он пережил её на один год. Сорок девять лет вместе. Сорок девять лет, из которых почти тридцать пришлось на Сибирь, ссылку, дорогу и поселение. Женщина, прие-

хавшая в Россию за прилавком лавки мадам Дюманси, чтобы заработать немного денег, окончила свою жизнь в России графиней Анненковой, оставила мемуары и вошла в литературу как героиня романа Александра Дюма.

А дом? Дом остался. Мать, королева Голконды, умерла в 1842 году в бедности и одиночестве, так и не дождавшись возвращения старшего сына. Дом к тому времени был уже продан Михалковым. Из личного королевства он сделался доходным. Тот самый угол, на котором когда-то стояла полуротонда, где в малиновых комнатах под сорок голосов дремала самая богатая чудачка Москвы, начал жить новой жизнью — жизнью совсем иной Москвы.

О ней — в следующей главе.

Глава 4. Доходный дом



Смена хозяев в московских особняках девятнадцатого века происходила негромко. Дом продавался — и всё. Менялись вывески на воротах, менялось расписание приёмов, но сам дом оставался: те же стены, те же окна, та же полуротонда на углу. Менялось только то, что происходило внутри. А происходило внутри теперь совсем другое.

Коммерсанты Михалковы купили особняк у Анны Ивановны Анненковой за пять лет до её смерти, то есть около 1837 года, и владели им до самой револю-

ции. Это была крепкая, расчётливая, деловая семья. Они не собирались жить в доме королевы Голконды так, как жила в нём она. Они собирались делать на нём деньги. И делали. С этого момента и до 1917 года дом на углу Петровки и Кузнецкого Моста был доходным — то есть сдавался внаём, дробился на квартиры, комнаты, помещения, номера, залы. Он оставался тем же зданием, но переставал быть домом в старом смысле слова. Он становился местом.

И вот это место начало набирать собственную славу — уже не как особняк чудачки, а как оживлённый угол, где кормили, поили, селили, стригли, фотографировали, продавали марки и показывали кино. Москва девятнадцатого века любила такие углы. Здесь можно было остановиться, пообедать, встретить знакомого, услышать новость. Здесь кипела та самая городская жизнь, которая в мемуарах вспоминается гораздо охотнее, чем балы и приёмы.

В конце тридцатых и в сороковых годах в бывшем доме Анненковых расположились ресторан и гостиница француза Транкля Яра. Это тот самый Яр, чьё имя потом будут носить несколько московских ресторанов, тот самый Яр, к которому будут ездить кутить, пить, влюбляться и стреляться. Здесь, на углу Петровки и Кузнецкого, его заведение стояло в ранние годы — пока не перебралось в другие, более простор-

ные помещения. Ресторан и гостиница при нём были удобны, бойки, доступны. Москва заходила сюда пообедать, поужинать, остаться на ночь. В комнатах, где когда-то в чулках ходили вокруг кушетки Анны Ивановны, теперь пахло кухней, вином, табаком и чужими дорожными чемоданами.

Позже ресторан и гостиницу Яра сменила гостиница «Франция». Название было незамысловатое, но заведение оказалось крепким. Здесь останавливались приезжие литераторы — те, кто приезжал в Москву по делам журналов, по редакционным надобностям, по собственным сердечным и денежным обстоятельствам. Известно, что в «Франции» не раз жили Николай Алексеевич Некрасов, Иван Сергеевич Тургенев и Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Это уже не просто постояльцы, это эпоха. Дом королевы Голконды, сам того не заметив, сделался домом русской литературы. В его номерах писались письма, читались корректуры, обсуждались статьи, бранились и мирились редакции, спорили о крестьянском вопросе и о том, куда идёт Россия.

Само здание к этому времени давно уже не выглядело так, как задумывал его неизвестный — или, может быть, Баженов — архитектор в 1776 году. Классцистическая строгость понемногу размывалась. Что-то пристраивали. Что-то перекрашивали. Что-то пе-

ределивали под нужды арендаторов. К середине века дом был уже живым, многослойным существом: в нём одновременно уживались доходные квартиры, торговые помещения, гостиничные номера, кухни, конторы и всё то, что делает московский дом московским. Полуротонда на углу оставалась, но глядела уже не так гордо, как прежде.

А к началу двадцатого века началось то, что в Москве тех лет происходило почти со всеми старыми особняками, попавшими в торговые кварталы. Началась новая, шумная, вывесочная жизнь. Дом оброс рекламой. Его фасад стал витриной города.

На первом этаже полуротонды открылась кафе-кондитерская «Трамбле». О ней говорили как о заведении модном, дорогом, лёгком. Отделка её была в стиле модерн — то есть новая, непохожая на всё, что было в доме до неё, с текучими линиями, с растительным орнаментом, с тем самым ощущением, что Москва в начале века любила больше всего: ощущением новизны поверх старой основы. Трамбле распорядился обновить первый этаж ротонды — и старый классицизм, который двести лет держался на этом углу, впервые уступил чему-то чужому.

В доме открылось фотоателье Н. И. Свищева-Паоло и фотоателье М. С. Наппельбаума. Наппельбаум — это уже имя в истории русской фотографии. У него

снимались люди, которых мы сегодня знаем по портретам: поэты, актёры, профессора, революционеры. У него в мастерской свет ставился так, чтобы человек на снимке был не «парадным», а настоящим. И эта мастерская тоже одно время помещалась в доме Анненковых. Здесь же был популярный филателистический магазин — московские коллекционеры марок знали этот угол хорошо.

В 1900-х годах в доме заработал кинотеатр. Его называли «Мефистофель». Кино было тогда новым, шумным, полубалаганным развлечением, и названия для синематографов придумывали так, чтобы сразу остановить прохожего. «Мефистофель» останавливал. Вывеска его шла по кругу ротонды буквами, которые издали напоминали маленькое колесо обозрения. Над ней размещалась реклама магазина кустарных изделий «Союз», а ниже по фризу у основания купола тянулась вывеска фотографа В. Чеховского. Поверх всего этого наваливались пёстрые, аляповатые, разноцветные вывески арендаторов — чайные, галантереи, портных, аптечных товаров, контор. Дом стал походить на пёструю ярмарку, выросшую на костях старого классицизма.

Анненковы, если бы вернулись в своё родное гнездо, не узнали бы его. Мать, королева Голконды, привыкшая к штофу, к мрамору, к малиновым стенам и

тишине, в которой слышен был только шёпот сорока голосов, очутилась бы посреди шумной, рекламной, газетной, кинематографической Москвы — и, вероятно, была бы оскорблена до глубины души. Она не поняла бы, зачем на её доме эти вывески, зачем эти толпы, зачем эти круглые буквы «Мефистофель», зачем приказчики и приказчицы, зачем синематограф. Но её дом уже давно ей не принадлежал. Принадлежал он Михалковым, которые сдавали его в аренду, а арендаторы делали то, что делают все арендаторы: устраивались в нём так, как было удобно им, а не дому.

И всё было бы, наверное, как всегда: дом бы старел, ветшал, переходил из рук в руки, менял вывески, а потом рано или поздно его бы снесли, как сносят в Москве всё, что не успели спасти, — если бы не одно обстоятельство. Незадолго до революции, в предчувствии новых времён или просто из практического расчёта, владелец здания задумал его снести. Не потому, что дом плох, а потому, что старый особняк не приносил уже достаточной выгоды. Он заказал проект новостройки знаменитому архитектору русского модерна Александру Зеленко. Зеленко был мастер крупный, современный, умевший строить для нового времени. На месте Анненковых должен был подняться очередной доходный или торговый дом в новом вкусе.

Началась бы, вероятно, ещё одна московская исто-

рия — про то, как старый особняк уступил место новому зданию и остался только на гравюрах да в книгах краеведов. Но случилось то, что случилось. Социальные катаклизмы 1917 года навсегда похоронили замыслы владельца. Дом не снесли. Дом дожил до революции. И в новом, советском, мире ему предстояло жить ещё тридцать лет — уже совсем иной жизнью.

Первое, что изменилось внутри, — это стены за прилавком кафе. Трамбле ушёл. На его месте открылась «Музыкальная табакерка». Название было лёгкое, почти игрушечное, и под стать ему было то, что в ней происходило: сюда приходили поэты — известные и неизвестные, — чтобы читать стихи вслух перед публикой. Здесь читали свои стихи Владимир Маяковский и Сергей Есенин. Возможно, не в один вечер, возможно, в разные годы, но в одной и той же комнате, в одном и том же доме, под той же полуротондой. Двое поэтов, чьи имена в русской литературе стоят так далеко друг от друга, что сблизить их, кажется, невозможно, — и оба они прошли через «Музыкальную табакерку» на углу Петровки и Кузнецкого Моста. Это ли не лучшая рифма к судьбе дома? Была в нём некогда богиня и тиран, королева Голконды, спавшая под шёпот сорока голосов. Стала — табакерка, в которой читают стихи вслух и слушают поэтов.

Дом Анненковых прожил в таком виде ещё трид-

цать лет. Потом настал 1948 год.

Об этом — следующая глава.

Глава 5. Сорок восьмой



Официально это называлось расширением улицы.

Петровка к середине сороковых годов не справлялась с тем, что на неё свалилось. Город рос. Транспорта становилось больше. Пропускная способность старых московских улиц, сложившихся в восемнадцатом веке под кареты и пешеходов, не отвечала требованиям века двадцатого. Было решено расширить магистраль. А расширять её в условиях плотной застройки можно было только одним способом — сносить то, что мешает. Так в Москве сносили и раньше. Так сно-

сили и потом.

Но и здесь есть одна деталь, о которой стоит сказать отдельно. Речь шла не только о доме Анненковых. Речь шла о целом квартале — от Кузнецкого моста до Дмитровского переулка. Весь этот участок Петровки, насыщенный старой застройкой, был приговорён и снесён за один заход. Дом Анненковых попал в число жертв не по своей отдельной вине, а потому что оказался внутри большого прямого угла, который проводили через город. Дом был снесён вместе со всем кварталом, как бывают снесены деревья вместе с лесом, когда лес рубят под новую дорогу.

Тем не менее попытка его спасти была. И попытка эта — исключительная.

В 1946 году Главное управление охраны памятников Комитета по делам архитектуры СССР выступило против решения Мосгорисполкома о сносе дома Анненковых. Это очень важный факт. Он означает, что дом к тому времени уже имел официальный статус архитектурного памятника. Он числился в списках того, что подлежит охране. За него вступилось центральное учреждение — не краеведы, не частные лица, не любители старины, а государственный орган, отвечавший за сохранность культурного наследия страны. Это была не записка, не письмо в редакцию, не общественное мнение. Это было официальное, юридиче-

ски оформленное возражение против сноса.

Так бывало, впрочем, нередко. Памятник числился. Памятник охранялся. И всё-таки его сносили. Спор между Главным управлением и Мосгорисполкомом — это спор между двумя ведомствами: между теми, кто отвечает за культуру, и теми, кто отвечает за городскую застройку. В сороковых годах такие споры, как правило, кончались в пользу застройщика. Побеждал тот, кто физически мог начать стройку. Культура могла только протестовать.

Возражения Главного управления охраны памятников не помогли. Дом Анненковых был снесён.

Произошло это, по одним сведениям, в 1946-м, по другим — в 1948 году, когда сносили весь квартал. Этот разнобой в датах — характерная черта московских сносов той поры: никто специально не фиксировал, когда именно не стало того или иного здания. Оно было — и его не стало. Точную дату мы выясняем спустя десятилетия, сопоставляя протоколы, фотографии, воспоминания. Дом, о котором писали статьи, за который вступилось Главное управление, сносился без церемонии, без вывески «здесь был», без памяти. Бульдозеры, грузовики, кирпич, пыль. Так московский классицизм, стоявший на углу Петровки и Кузнецкого Моста с 1776 года, закончился.

Полторы сотни лет. Одиннадцать владельцев. Че-

тыре эпохи. Пять тысяч платьев. Сорок служанок, шептавших по ночам. Ресторан Яра, гостиница «Франция», фотоателье Наппельбаума, «Мефистофель», «Музыкальная табакерка», стихи Маяковского и Есенина. Всё это жило внутри одного дома — и всё это исчезло в один год.

И вот тут стоит сказать самое важное. Дом Анненковых был не единственным зданием, снесённым в эти годы. Он был не единственным памятником, за который безуспешно вступались. Он был не единственным старым московским углом, на котором выросли потом новые постройки. Его судьба — не уникальный случай. Это была норма. И в этой нормальности — весь ужас и вся грусть. Потому что дом Анненковых — не исключение, а правило: если ты рядовой московский особняк, пусть даже первоклассно построенный, пусть даже связанный с Баженовым, пусть даже с официальным охранным статусом, — ты можешь быть снесён. Не по злобе, не по какой-то особой ненависти. Просто потому, что ты попал в полосу расширения. Просто потому, что ты стоял там, где нужно было провести дорогу.

Памятники в Москве спасают в исключительных случаях. Обычно их просто нет. Снос рядового московского дома — это не катастрофа. Это рутина. Город меняется. Дома уходят. Культурная память не в

силах пересилить каток городского планирования, если только за дом не встанет нечто большее, чем официальная бумага. Дом Анненковых такой силы за собой не имел. К тому времени он был уже давно не дом королевы Голконды, не дом декабриста, не дом русских литераторов. Он был доходным зданием с вывесками и арендаторами. Москва его любила меньше, чем он того заслуживал. И когда пришло время, отпустила легко.

А потом на его месте, по проекту ландшафтного архитектора М. П. Коржева, разбили сквер.

Сквер получился хороший: ровный, чистый, доступный. В нём в течение четырёх десятилетий стояла летняя веранда кафе «Дружба». Туда ходили пить кофе и мороженое. Туда водили детей. Там встречались. Там говорили. Сквер — форма городской памяти, при которой прошлое не сохраняется, а как бы замещается новой, лёгкой и приятной жизнью. На углу Петровки и Кузнецкого, где полторы сотни лет стоял дом с полуротондой, теперь шумели деревья, стояли скамейки, гуляли люди. И мало кто знал, что под ногами — дом.

Судьба, впрочем, любит рифмы. И у этой истории рифма нашлась довольно скоро — и странная. В 1975 году режиссёр Владимир Мотыль снял фильм «Звезда пленительного счастья» — о декабристах, об их

судьбах, об их жёнах, поехавших за ними в Сибирь. О судьбе Ивана Анненкова и Полины Гёбль — те же события, тот же сюжет, та же эпоха. Для съёмок нужен был особняк, который мог бы сыграть дом Анненковых. Но самого дома к тому времени уже почти тридцать лет не существовало. И роль дома Анненковых в фильме о декабристах сыграла московская усадьба Усачевых-Найденовых на Земляном валу. Другое здание, другой век, другой угол Москвы — но похожее, подходящее, живое.

Так дом королевы Голконды впервые за свою долгую историю стал собой — но не собой. Он стал персонажем фильма о людях, которые жили в нём. Он стал чужой усадьбой, играющей его самого. И в этой подробности — всё. Московский классицизм сыграл самого себя чужими стенами. Историю декабриста снимали не в доме декабриста. Дом декабриста был уже разрушен.

А сквер — сквер оставался. Сквер стоял на том самом месте, где когда-то ходили в чулках. Там, где в малиновых комнатах под шёпот сорока голосов дремала королева Голконды. Там, где на прилавке мадам Дюманси стояла молодая француженка, увидев которую, поручик Кавалергардского полка изменил всю свою жизнь. Там, где читали стихи Маяковский и Есенин. Там, где останавливались Некрасов, Тургенев, Сал-

тыков-Щедрин. Там, где работал Наппельбаум. Там, где были «Мефистофель», «Трамбле», филателисты, «Музыкальная табакерка». Там, где в 1946-м за дом безуспешно боролось Главное управление охраны памятников.

Сквер — хорошая форма. Сквер — вежливая форма. Сквер никому не мешает. И сквер не требует памятной таблички. На нём просто сидят люди. Играют дети. Гуляют собаки. Всё хорошо.

Но на этом история угла Петровки и Кузнецкого моста не закончилась. В начале двадцать первого века на нём возникло новое здание — яркое, спорное, многофункциональное, — и у него уже другое имя, другая память и другие счёты с городом. О нём пойдёт речь в эпилоге.

Скажи «пиши» — и я напишу эпилог: 2002 год, «Берлинский дом», договорённость мэра Москвы и бургомистра Берлина, группа архитекторов, архитектурный спор о том, уместно ли здесь это здание, пересечение двух историй — московской и берлинской — на одном и том же углу, и вопрос о том, кто и как будет помнить дом Анненковых через сто лет.

Эпилог. Берлинский дом



В 2002 году на углу Петровки и Кузнецкого Моста появилось новое здание.

Его построили по совместному решению мэра Москвы и бургомистра Берлина — жест, как тогда казалось, символический: немецкая столица и русская столица договариваются о совместном проекте, и он встаёт в самом центре Москвы, в двух шагах от ЦУМа, на старом, намоленном месте. Проект разработала группа архитекторов под руководством Ю. П. Григорьева, И. К. Бартошевича и К. Д. Кребса. Здание по-

лучило имя — «Берлинский дом».

Оно вышло крупным, заметным, узнаваемым. Масивный фасад, бледно-зелёные стены, стеклянная мансарда, эркеры, башенки. Оно сразу стало частью московского пейзажа — настолько, что неискушённый молодой москвич, нечасто заходящий на Кузнецкий мост, вполне может решить, что оно стояло здесь испокон веков, рядом с доходным домом «Сокол». Но это не так. До него на этом углу не было ничего, кроме сквера.

Сквер — это то, что осталось на месте дома Анненковых после 1948 года. И стоял он почти полвека. В нём была летняя веранда «Дружбы», в нём гуляли дети, в нём назначали встречи, в нём пили кофе. Сквер — счастливая форма памяти: ничего не требует, ничего не хранит, никому не мешает. Но и он не вечен.

Когда в начале двухтысячных на углу решили строить «Берлинский дом», сквер, разумеется, убрали. Это был не снос памятника, не акт забвения — это была обычная городская жизнь. Сквер на углу не имел охранного статуса. Сквер на углу не был связан ни с Баженовым, ни с декабристом, ни с Некрасовым. Сквер был просто пустым, уютным, приятным местом в центре Москвы. Такие места — ресурс. И Москва начала двухтысячных распоряжалась ими щедро.

Строительство «Берлинского дома» обсуждали в

прессе. Говорили о том, что здание слишком велико для этого перекрёстка. Что оно спорит с Петровкой. Что стилистика его — не московская, а какая-то чужая, парадно-европейская, глянцевая, для города не совсем родная. Говорили и другое: здание выразительное, современное, своё время выражает точно. Так или иначе, но в 2002 году Берлинский дом встал. И стоит до сих пор. И называется по имени города, откуда в Москву пришли когда-то и Полина Гёбль, и учитель фехтования Огюстен Гризье, и, если уж на то пошло, тот же Дюма — француз, правда, не берлинец, но европеец, иностранец, чужая память, ставшая частью русской.

В этом — вся рифма, вся симметрия этой истории. Дом, стоявший на этом углу с 1776 года, был построен для сибирского генерал-губернатора и назван по имени его дочери. Дом пережил королеву Голконды, декабриста, его француженку-жену, доходные квартиры, ресторан Яра, гостиницу «Франция», «Мефистофель», «Трамбле», Наппельбаума, Маяковского, Есенина. Дом пережил всё это и был снесён в 1948 году — при попытке его спасти, при официальном охранном статусе, при возражении Главного управления охраны памятников. На его месте разбили сквер. Сквер простоял четыре десятилетия. Потом сквер убрали, и на его месте появился дом с именем ино-

странного города.

Не Полины. Не Анненковых. Не Якоби. Не Баженова. Даже не Москвы — а Берлина.

Такая рифма в судьбе московских углов — не редкость, но каждый раз она застаёт врасплох. Место, которое двести лет было домом одной семьи, одной женщины, одной пары, одной судьбы, стало именем другого города. Дом королевы Голконды превратился в «Берлинский дом». Дом барыни — в офисно-торговый центр. Дом декабриста — в чужое имя.

Что это значит — для Москвы? Для памяти? Для тех, кто сегодня проходит мимо «Берлинского дома» по Кузнецкому Мосту и не знает, что под асфальтом, под фундаментом, под стеклянной мансардой и эркерами лежит старый классицистический особняк с полуротондой и двумя симметричными трёхэтажными флигелями?

Это значит ровно то, что означает всякая городская память: она держится не на зданиях, а на людях. Здание исчезает — и память о нём может исчезнуть вместе с ним, если никто не будет её держать. Дом Анненковых был снесён в 1948 году. Имени его больше нет на карте Москвы. На карте есть «Берлинский дом». Но в книгах, в мемуарах, в фильме Владимира Мотыля, в романе Александра Дюма, в краеведческих статьях, в этой самой новелле, — дом Анненковых по-

**прежнему стоит на углу Петровки и Кузнецкого Мо-
ста. Стоит в тот самый год, когда его построили. Сто-
ит в тот день**

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.